

## Нарративная идентичность как теория практической субъективности. К реконструкции концепции Поля Рикёра<sup>1</sup>

Жан-Марк Тета\*

**Аннотация.** В данной статье рассматривается концепция нарративной идентичности Рикёра, представленная в книге «Сам как другой». Показывается отличие данной концепции от понятия «нарративная идентичность», предложенного Макинтайром. Для этого автор фокусируется на анализе понятий «повествовательная конфигурация» и «рефигурация», рассматриваемых Рикёром в книге «Время и повествование». Понятие «повествовательная идентичность» включена в герменевтическую концепцию Рикёра из работы «Символика зла», где она опирается на возможности, открываемые теорией повествования, сформулированные в спорах со структурализмом и литературным анализом. Этот шаг ставит вопрос о субъективности, в который включена проблематика повествовательной идентичности. Данная «философия первого лица» является объектом второй части исследования.

**Ключевые слова.** Рикёр, личная идентичность, повествовательная идентичность, нарративная идентичность, чтение, герменевтика, субъективность, поэтика, теория действия.

Вопрос о личной идентичности получил классическую формулировку в главе XXVII «Опыта» Локка под названием «Идентичность и различие» (Locke, 1975)<sup>2</sup>. Последующее обсуждение сосредоточилось на роли памяти. Именно этот аспект оказался в центре философских дискуссий по проблеме личной идентичности от Бернарда Уильямса и Сиднея Шумейкера до Дерека Парфита<sup>3</sup>. Речь шла в основном о том, позволяет ли понятийное различие между идентичностью человека (основывающейся на теле как организме) и идентичностью личности (базирующейся на самосознании) дать убедительный ответ на вопрос о критериях личной идентичности. Или же, наоборот, этот вопрос требовал возврата к различению между личностью [personne] и

---

\* **Тета Жан-Марк** — приглашенный профессор в университетах Бохума, Софии, Лозанны, Фрибурга и Высшей школы социальных наук. Независимый автор и переводчик, проживающий в Лозанне.

© Tétaz J.-M., 2012

© Маяцкий М., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. Пер. с фр. Михаила Маяцкого. Источник: Tétaz J.-M. (2012). L'identité narrative comme théorie de la subjectivité pratique. Un essai de reconstruction de la conception de Paul Ricœur. (Статья написана специально для «Социологического обозрения».)

2. О месте Локка в дебатах XVII–XVIII веков см.: Thiel, 2001.

3. См.: Williams, 1973 (немецкий перевод: Williams, 1978); Shoemaker, 1963; Parfit, 1986. Многочисленные сборники и антологии резюмируют эти дискуссии; см. The identities of persons, 1976; Personal identity, 1999, а также: Personale Identität, 1999.

индивидом. В первом случае критерии идентичности были бы психологическими, во втором — физическими<sup>4</sup>.

Сосредоточенность на вопросе о критерии затемнила важнейшие системные инновации Локка: определение личности как разумного существа, т. е. как *себя*, и подчеркивание связи вопроса идентичности с вопросом вменяемости человеку авторства по отношению к своим действиям<sup>5</sup>. В самом деле, Локк впервые настоял на том, что только человек, признающий себя автором своих действий, может рассматривать себя как ответственное лицо, и поэтому только другой может законно вменить ему ответственность<sup>6</sup>. Оригинальность и важность рассуждений Локка заключается как раз в практической ориентации постановки вопроса о том, при каких условиях человек может приписать себе действия как совершенные им. Эта концепция позволяет Локку занять позицию, так сказать, онтологического воздержания: конститутивное для *себя* сознание определяется только через его функцию, для прояснения которой Локк не привлекает ни одного онтологического тезиса о природе личности, сознания или любой иной субстанции, которой присуще сознание<sup>7</sup>.

Именно к этому фундаментальному обсуждению обращается Рикёр в своей работе «Сам как другой»<sup>8</sup>. Но он производит здесь определенное смещение. Личная идентичность — это не некая естественная данность сознания, а результат опосредования «рассказами», нарративами, понятыми как разнообразные модели повествовательной конфигурации действия. Словом, личная идентичность есть идентичность повествовательная; только через посредство рассказа строится такое отношение к себе, в котором *сам* заявляет о себе как о *себе* и возлагает на себя действия, которые ему приписывает или может приписать другой.

Конечно, Рикёр в этом не уникален; нарративное измерение придавали вопросу о личной идентичности и Алесдер Макинтайр, и Чарльз Тейлор, и Ричард Рорти<sup>9</sup>. Но позиция Рикёра отличается от позиции упомянутых мыслителей по крайней мере в трех отношениях. Во-первых, Рикёр вписывает её в двойную апоретику — личной идентичности и приписания авторства актам. Во-вторых, он располагает чрезвычайно изощренной теорией нарративности, разработанной им предварительно в TR. И, наконец, в-третьих, он помещает этот вопрос в рамки теории субъективности, нацеленной на построение «философии первого лица»<sup>10</sup>, способной избежать претензии на непосредственный доступ, свойственной философиям *cogito* (или, как их по

4. См. систематический анализ этих вопросов: Quante, 2001.

5. Большой заслугой Этьена Балибара явилось привлечение внимания именно к этой стороне дела. См. его комментированный перевод гл. XVII «Опыта» Локка: Locke, 1998.

6. Для Локка это необходимое условие наказуемости действия. Я могу быть наказан только за действие, которое я осознаю как совершённое мной (см.: Локк, «Опыт», II, XXVII, § 22).

7. См.: Локк, «Опыт», II, XXVII, §§ 10, 16, 17, 23.

8. Впредь в тексте работы П. Рикёра обозначаются таким образом:

SA — «Soi-même comme un autre» («Сам как другой») (Ricœur, 1990).

MV — «La métaphore vive» («Живая метафора») (Ricœur, 1975).

TR — «Temps et récit» («Время и повествование») (Ricœur, 1983, 1984, 1985).

9. См. особенно: MacIntyre, 1981: ch. 15; Taylor, 1989 ch. 2, 3; Rorty, 1989: ch. 2, 5. О дискуссии вокруг повествовательной идентичности см. Thomä, 2007[1998].

10. См.: Descombes, 2007.

французской традиции называет Рикёр, «философиям рефлексии»<sup>11</sup>). Эти три аспекта делают из Рикёра достойного наследника Локка.

Именно позиция Рикёра представляется мне наиболее многообещающей для диалога между философией и общественными науками. Герменевтика *себя*, разрабатываемая Рикёром, начиная с «Символики зла» (Ricoeur, 1988b), заключается в выявлении символических ресурсов культуры, с помощью которых *сам* строит свою идентичность. В рамках теории нарративной идентичности эта тематика воспроизводится под эгидой важности чтения как деятельности, посредующей между текстом и жизнью. Ибо для Рикёра, только умеющий читать свою жизнь в свете произведений, переданных его культурной средой, способен рассказать сам себя; посредничество культурных произведений абсолютно необходимо для выработки личной идентичности.

Свою статью я начну с краткой характеристики места нарративной идентичности в книге SA и нескольких понятий, особенно концепта «поэтического ответа» (I). Затем я попытаюсь показать, в каком смысле нарративную модель можно считать поэтическим ответом на апории личной идентичности, на которые натолкнулись дебаты в аналитической философии, завершившиеся работой Дерек Парфита «Reasons and persons» (II). Самая длинная третья часть представит нарративную идентичность в качестве поэтического ответа на апории приписания авторства действиям на материале сопоставления концепции Рикёра с идеями Макинтайра, изложенными в его работе «После добродетели» (III). Затем мы обратимся к концепции субъективности, выступающей основой теории повествования, и покажем, что «философия первого лица» находит в чтении как приложении текста к жизни свою модель и замечательное подтверждение (IV). В заключение мы продемонстрируем, что эта концепция *себя* предполагает, несмотря на все отречения Рикёра, некоторую теорию самосознания как непосредственного знания (V).

## I

Глава книги SA, посвященная *себе* и нарративной идентичности, служит некоторого рода завершением «скрытой сюиты» этюдов, составляющих этот центральный опус Рикёра, поскольку вопрос об идентичности образует переход от исследований «логико-практического» стиля (1–4) к тем, которые Рикёр называет своей «маленькой этикой» (7–9). В предисловии Рикёр приписывает ей «функцию перехода и связи» (SA: 32). Есть и другой знак того, что эта глава играет в книге стратегическую роль: среди четырех вопросов, образующих ритм SA — кто говорит? кто действует? кто себя рассказывает? кто является вменяемым моральным субъектом? (SA: 28) — только в одном присутствует возвратно-рефлексивное местоимение «себя»: кто *себя* рассказывает? [qui se raconte?] То есть только в этом вопросе явно присутствует вопрос о себе, поскольку рассказывать *себя* может только кто-то *сам*.

В предисловии, резюмирующем шестую и седьмую из его «Гиффордских лекций», Рикёр объясняет, что роль этого рассуждения заключается в построении

11. Рикёр объясняет мотивы этого отказа во введении к SA. Мы не можем здесь подробнее останавливаться на этом вопросе.

«герменевтики *себя*» (SA: 15), призванной лучше выразить специфику феномена субъективности<sup>12</sup>, в котором он видит «изначальный факт», но пытается избежать ловушек «основания», которые со времен Декарта связаны с самоутверждением субъекта. Иными словами, Рикёр хотел бы разработать философию конкретной субъективности, не прибегая к привилегированному и прямому доступу, что и становится, по всей видимости, возможным благодаря обращению к перспективе первого лица. Отсюда косвенный, обходной анализ, предпочитающий опосредование знаками, символами и текстами, т. е. структурами, которые конститутивны для человека в той мере, в какой он способен обозначать себя как говорящего, действующего, само-рассказывающего и вменяемого.

Такая стратегия влечет за собой обращение к подходам, казалось бы, чуждым вопросу о субъективности: к семантике идентифицирующей референции Стросона и к его онтологии «базисных особенностей» [*particuliers de bases*], к анализу семантики действия Дэвидсоном и связанной с ней онтологии событий, а также, наконец, к радикальной критике Д. Парфитом веры в личную идентичность, т. е. в стабильность агента [*suprôt*<sup>13</sup>] того разнообразия ментальных состояний, в которых может пребывать индивид. Прочтение этих авторов Рикёром покажет — против их воли, — что вопрос о *себе* сопротивляется всем попыткам редукции или обхода и выказывает себя как «изначальный факт»<sup>14</sup>. Для этого Рикёр обращается к другим подходам, в частности к прагматическому. Эти разборы, совпадающие с четными главами, не упраздняют результаты нечетных глав, но их неоспоримые и вместе с тем несовместимые выводы выстраивают своего рода антиномию и конституируют определенную апоретику.

Философская рефлексия не может на этом остановиться. Если она хочет продвинуться в разработке герменевтики *себя*, она должна привести в действие конфликтующие апоретические термины, а это возможно только за счет определенного смещения. Именно такое отношение и господствует внутри пар этюдов в SA. Так, этюды, посвященные *себе* как субъекту высказывания, открываются горизонту (пока проблематичному) основания *себя* во внешнем языке измерения, в собственном теле (SA: 71). Апории, обнаружившиеся в первых двух этюдах, воспроизводятся в последующих, посвященных проблеме действия. Вопрос о действии не только не может быть решен, но и становится всё острее, дав повод трем апориям, связанным с вопросом приписания действия ее автору, в результате которых и возникает вопрос о собственном теле (SA: 135s.). Именно для разрешения апорий приписания Рикёр обращается в своем пятом этюде к проблеме личной идентичности. Он подхватывает ее там, где ее оставила рефлексия над отношениями между действием и деятелем, чтобы углубить «то, что присуще *себе*, вовлеченному в способность к действию на стыке действия и деятеля», добавив к этому «*временное* отношение как *себя*, так и действия» (SA: 137).

12. Рикёр предпочитает говорить о себе, но это просто лексический вопрос. Начиная с Локка, *сам* (self) характеризуется фактом самосознания, т. е. субъекта.

13. Я заимствую термин у В. Декомба, который пишет «Я использую старый термин *suprôt* [сообщник, пособник, помощник, приспешник, наймит] для обозначения индивида в той мере, в которой он может играть роль аканта в некоторой истории, так что мы задаемся вопросом, является ли он субъектом происходящего, или объектом, или пайщиком-соучастником» (Descombes, 2004: 14).

14. См.: SA: 48, 53, 103–108, 164–166.

Рикёр подходит к вопросу об идентичности бинарным образом. Пятый этюд снова воспроизводит дискуссию с аналитической философией. «Самым грозным противником» (SA: 156) он считает Д. Парфита. Почему? Потому что Парфит выбирает редукционистскую стратегию и стремится показать, что личная идентичность во временном смысле некоего субъекта приписания мыслей и действий остается неразрешимой, но этот вопрос в конце концов несуществен с этической точки зрения. Парфит приводит целый ряд аргументов против идеи *себя* как «первичного факта», герменевтику которого можно было бы построить. Апории, выявленные в предыдущих этюдах, как будто указывают на то, что сама идея *себя* как субъекта приписания мыслей и действий иллюзорна. Ответить на это радикальное отвержение призвана нарративная концепция идентичности *себя*, которую Рикёр наметил в следующем этюде, озаглавленном «Сам и нарративная идентичность». Но эта концепция сможет выдержать натиск доведенных до карикатуры апорий Парфита, только если сможет предложить способы их решения. Рикёр стремится не только доказать это, но и выдвинуть данную концепцию как оригинальное решение апорий приписания. Модель повествовательной идентичности опирается, таким образом, на результаты, полученные в ходе анализа *себя* как говорящего и действующего субъекта, и включает их в теоретическую рамку, построенную в TR. Повествование, пишет Рикёр, вносит «поэтический ответ... на апории приписания».

Что следует понимать под «поэтическим ответом»? Каковы предпосылки этого понятия? Его Рикёр вводит в TR (TR3: 11, 147), чтобы охарактеризовать специфическую роль литературных теорий в попытках разрешить апории, доставшиеся от феноменологии времени. Но в принципе понятие это восходит к рикёровской рефлексии о зле во втором томе «Философии воли». Поэтический ответ противопоставляется решению спекулятивному; это и отличает ее от гегелевской диалектики<sup>15</sup>. Он призван использовать ресурсы литературной по сути операции, чтобы рассмотреть в ином регистре проблемы, оставшиеся не затронутыми ни прямым философским анализом, ни анализом феноменологического (как в «Философии воли») или аналитического типа (SA). Эти проблемы находятся на стыке семантики и онтологии. В продолжение седьмого этюда MV Рикёр уточняет, что поэтическое (лирическое или повествовательное) произведение отсылает к понятию реальности, несводимому к любой форме позитивизма, утверждающего, «что единственно реальна та данность, которая наблюдаема эмпирически и описываема научно» (TR1: 121). Рикёр характеризует эту способность заимствованным у Франсуа Дагонэ антиплатоновским понятием «иконическое приращение» (TR1: 121)<sup>16</sup>.

Остается разобраться в причине такого специфического могущества поэтического произведения. Прочитаем внимательно определение, которое Рикёр дает поэтике: поэтика — «дисциплина, занимающаяся законами композиции, добавляющимися

15. См. разбор Рикёром шеллинговских размышлений о переходе от возможности зла к реальности зла в конце «L'homme faillible» (Ricoeur, 1988d: 157) и в: Ricoeur, 1988b. Мне представляется, что апория и поэтический ответ представляют собой методическую пару, составляющую всю оригинальность философского жеста Рикёра, начиная с 1960 г.

16. См.: Dagonet, 1973. Понятие иконического приращения развивается автором в плане критики платоновской обесценки *eikôn* в «Федре», 274e–277e.



к речевой единице, чтобы сделать из нее повесть, стихотворение или эссе» (Ricoeur, 1986b: 13)<sup>17</sup>. Речевая единица, по Бенвенисту, — это фраза. При этом любая так называемая «логическая» семантика, от Фреге до витгенштейновского «Трактата» или до Рассела, опознает во фразе, или в «атомарном высказывании» (Рассел), единицу обозначения, способную адекватно описать положение дел и, следовательно, быть однозначно истинной или ложной. Текст же предстает поэтическим объектом более высокой смысловой сложности, несводимым к анализу фраз, его составляющих. Это позволяет тексту развернуть иную форму референции, также несводимую к тому, «что имеет место»<sup>18</sup>. Такая форма референции использует прибавочный смысл, порождаемый текстовой конфигурацией, т.е. его внутренними детерминациями, и в итоге дает прирост «интелигибельности» [intelligibilité]. Рикёр выбирает этот термин, чтобы преодолеть традиционную антиномию между объяснением и пониманием<sup>19</sup>. Именно этот прирост характеризуется в TR как «иконическое приращение». Идея поэтического ответа заключается, следовательно, в том, чтобы философски освоить текстовые ресурсы интелигибельности, чтобы вернуться к апориям, в которые уперся философский анализ. Но ответ — это не просто решение. Всегда имеется измерение, выходящее за рамки возможностей опосредования, присущих поэтике. В этом смысле понятие поэтического ответа вписывается в рамки такой герменевтической философии, которая «отказывается от мечты о тотальном опосредовании, в результате чего рефлексия снова приравнивается к интеллектуальной интуиции в прозрачности абсолютного субъекта самому себе» (Ricoeur, 1986b: 32). Это «невозможное тотальное опосредование» заставляет «отказаться от Гегеля» (TR3: 292, 280) и отсылает по ту сторону герменевтики *себя* к пределам онтологии *себя*.

В TR, равно как и в SA, Рикёр обращается к особому типу текстов — повествовательному. Специфика таких текстов состоит, в частности, в том, что «мир берется в них под углом человеческого *праксиса*» (TR1: 122); Рикёр говорит по этому поводу о «праксической эффективности» (TR1: 120). Иконическое приращение, достигаемое повествованием, распространяется, таким образом, на действие. Повествование делает его более ясным, строя «схемы интелигибельности» (Ricoeur, 1986b: 17)<sup>20</sup>, увязывающие между собой все послышки «концептуальной сети действия» (SA: 174). Богатством и сложностью эта сеть действительно превосходит любые возможности предложения. Идея повествовательной идентичности состоит в обнаружении в удивительной способности повествования понятийных средств, необходимых, чтобы сделать интелигибельным тот смысл, в котором индивид мог бы понять себя как автора своих действий и, следовательно, понять себя как *себя*, т.е. как индивида, способного отнести к себе, в первом лице, то обозначение в третьем лице, которое относится к персонажу повествования (см.: SA: 12, 48, 69). Идея нарративной идентичности оказывается вариацией на фундаментальную методологическую тему Рикёра: «Не бывает понимания *себя*, не опосредованного знаками, символами, текстами; понимание *себя*

17. Рикёр призывает здесь для понимания поэтики авторитет Аристотеля. О понятии текста см.: Ricoeur, 1986g.

18. Подробнее об этом см.: Ricoeur, 1986a.

19. Об этом см. особенно: Ricoeur, 1986c; см. также: TR1: 173–246.

20. См. также: TR1: 123.

совпадает в конечном итоге с интерпретацией, примененной к этим посредующим текстам» (Ricoeur, 1986b: 29). В этом смысле повествовательная идентичность исходит из определенной «герменевтики *себя*»: это та модальность, в которой *сам* понимает себя, понимая тексты, т. е. способен применить читаемые повествования к своей собственной жизни и найти в них ресурсы, необходимые, чтобы ее понять.

Герменевтический жест Рикёра не приемлет, однако, идею тотального опосредования: понимание *себя*, ставшее возможным благодаря текстам, не дает интеллигибельность без остатка. Что-то всегда сопротивляется и отсылает к онтологическому измерению, доступному только «встречному вопрошанию» [Rückfrage]<sup>21</sup>. В SA таким сопротивляющимся моментом выступает само тело, каждый раз предполагающееся, но выходящее за рамки концептуальных возможностей рефлексии. Под эгидой тела здесь заявляется вопрос об определенной онтологии *себя* как конечной цели «герменевтики *себя*». Этому вопросу, унаследованному от Хайдеггера, Рикёр дает специфический поворот через ту роль, которую он уделяет темам действия и удостоверения. Этот онтологический вопрос всегда находился в центре философской работы Рикёра. Уже в 1960-е годы он настаивал на референциальной направленности дискурса против структуралистского самозамыкания и охотно характеризовал свою установку как «онтологический раж» (Ricoeur, 1986b: 34). Отсюда понятен, кстати, и ранний интерес Рикёра к аналитической философии. Вопрос о специфическом способе бытия, собственном *себе*, предстает здесь как форма, которую принимает это онтологическое вопрошание, когда ресурсы анализа языка и текста применяются к вопросу о *себе*. Как в MV, так и в SA доступ к онтологическому вопросу проходит через внимание, обращенное к тому, как повествовательный язык организует свою референтность, т. е. к тому способу референтности, который осуществляется повествованием. Сутью позиции TR как раз и является нахождение ключа к этой референтности в том понимании, благодаря которому читатель применяет к себе и своему миру читаемый им текст (TR3: 230). Ибо именно посредством чтения мир, обозначаемый текстом, видится иначе и обретает ту интеллигибельность, которой ему до этого не хватало. Но речь здесь идет о «праксической эффективности», о мире человеческого праксиса. Этот способ видения мира *праксиса* подразумевает онтологию, несводимую к физикалистской онтологии события Д. Дэвидсона, локальную применимость которой Рикёр, впрочем, не отрицает (SA: 107). Как подчеркивает Рикёр, вместо того чтобы позволить помыслить «способ бытия агента», физикалистская онтология «способствует затемнению... онтологии агента» (SA: 104). Анализ Рикёра выводит на плюралистский онтологический горизонт, соответствующий концепции языка, пытающейся сохранить «полноту, разнообразие и несводимость [различных] использований языка» и, следовательно, отвергающей «всякий редукционизм, согласно которому „правильные языки“ могут судить о смысле и истинности любых „нелогичных“ использований языка» (Ricoeur, 1986b: 21).

---

21. См.: Ricoeur, 2004.

## II

Какое толкование личной идентичности выдвигает концепция нарративной идентичности против апорий, обнаруженных Парфитом? Уже в предисловии к SA Рикёр различает два типа идентичности: идентичность-то-же-самость [mêmeté] и идентичность-самость [ipséité] (SA: 12). Он мало обращается к этому различию в первых четырех этюдах, чтобы потом сделать его центральным элементом рассуждения, поскольку «столкновение двух вариантов идентичности становится по-настоящему проблематичным при обсуждении вопроса о *постоянстве во времени*» (SA: 140).

Идентичность-то-же-самость обозначает устойчивость во времени того же самого (численная идентичность), в которой сохранность сущностных черт (идентичность качественная) играет или может играть, роль критерия. Можно вместе с Кантом истолковать эту идентичность через ее отношения, как субстрат изменчивых определенностей, т. е. как «реляционный инвариант». От этой формы идентичности Рикёр отличает «самость себя» [l'ipséité du soi], которую следует понимать как «форму постоянства во времени, несводимого к определенности субстрата», и который поэтому призван отвечать на вопрос «кто я?» (SA: 143). Самость, однако, не исключает тождественности; одно дополняет другое, не без напряженности между ними. В дискуссиях же аспект самости мало принимался во внимание, что относится и к обсуждению Парфитом вопроса о критерии. То же предубеждение находим и в массивном использовании «словаря референтности» в «Reasons and persons», а именно «словаря событий, фактов, описанных безличным образом» (SA: 158). Иначе говоря, рассмотрение критерия личной идентичности сразу вписывает индивида в онтологию события (как его понимает Дэвидсон). Здесь не остается места для всей совокупности феноменов, в которых проявляется специфичность отношения к себе, будь то собственное тело (SA: 159) или воспоминание (SA: 163). Чтобы выразить это отношение, необходимо ввести иную форму идентичности, способную «выделить проблематику внутренней рефлексивности [ipse] из проблематики идентичности того же самого», и предоставить полноту прав «идентификации», в которой «актант идентифицируется через свое *делание*» (Ricœur, 1987: 67). Это позволит отдать отчет в «несводимости мойности» (SA: 165), что требует «различения то-же-самости и мойности [mêmeté vs mienneté] (SA: 164)<sup>22</sup>.

Эта функция нарративной идентичности, и особенно роль поэтического ответа, являются новыми элементами, отличающими SA от аналогичных разработок в TR<sup>23</sup>, хотя они и основываются на последних. Они вписываются в схему тройного мимезиса (см.: TR1: 85–129; TR3: 357), образующую основу этого труда: разворачивание интриги (расположение, или конфигурация) предполагает пред-повествовательную структуру действия (предвосхищение, или префигурация), которая завершается ее освоением, опосредующим чтение (переработка, или рефигурация). Признание опосредующей роли повествования требует уточнения того: 1) в каком смысле идентичность персонажа является результатом операции конфигурации; 2) каким образом

22. Эти формулы отсылают к «Бытию и времени» М. Хайдеггера и особенно к его понятию *Jemeinigkeit* (Heidegger, 1927: § 9).

23. Ср.: Ricœur, 1988a: 296.



повествовательная конфигурация персонажа может служить интеллигибельности его самоидентичности; 3) наконец, как повествовательная идентичность дает поэтический ответ на апории идентичности, выявленные Парфитом.

1) Интрига — это операция, которая позволяет включить в повествовательную композицию (рассказ) как согласованные, упорядоченные, так и несогласованные (перипетии, превратности судьбы) элементы. Акт конфигурации производит, таким образом, «синтез гетерогенного», в рамках которого любая случайность становится «повествовательным событием» (SA: 169) и наделяется значением, пропорциональным его роли в развитии истории. Такая конфигурация создает интригу в форме «динамической идентичности, примиряющей те категории, которые Локк считал противоположными: идентичность и разнообразие» (SA: 170). Разворачивание интриги можно перенести с действия на персонаж: «идентичность персонажа понимается через перенос на него интриги, сперва примененной к рассказанному действию» (SA: 170). От Проппа через Бремона<sup>24</sup> до Греймаса нарратология показала, что персонаж есть функция повествования, из чего следует, что «повествовательная структура совмещает два процесса создания интриги: действие и персонаж» (SA: 174). Разворачивание интриги персонажа (как и действия) есть такая конфигурация, которая примиряет согласованность и несогласованность и вбирает в себя черты «единства его жизни, рассматриваемой как уникальная временная тотальность, отличающая его от любого другого персонажа», и «разрыва, вносимого непредсказуемыми событиями, которыми отмечена эта жизнь» (SA: 175). Таким образом, «идентичность персонажа, как бы развернутого в интригу», есть также «динамическая идентичность», «синтез гетерогенного», интегрирующий неожиданности и перипетии, значение которых становится ясным лишь задним числом. Персонаж — не больше и не меньше, чем то, что о нем повествуется. «Повествование строит идентичность (назовем ее «повествовательной») персонажа, строя идентичность рассказываемой истории. Идентичность истории придает идентичность персонажу» (SA: 175). Рикёр толкует динамическую идентичность через два полюса, вокруг которых формируется идентичность как постоянство во времени: то-же-самость, т. е. «устойчивые признаки, по которым мы узнаем личность» (SA: 146), и самость, т. е. «верность себе в данном слове» (SA: 143). Интрига разворачивается между двумя этими полюсами и может рассматриваться как синтез этих двух полюсов.

2) Как перейти от идентичности персонажа к идентичности себя? Через чтение, которое Рикёр понимает как операцию применения текста к миру. Чтение обладает двойственностью: с одной стороны, оно синтезирует, вписываясь в парадигму конфигурации (см.: TR3: 246), где читатель создает мир текста в диалектике между «нехваткой определенности», вызывающей к воображению, и «избытком смысла», побуждающим к перечитыванию (TR3: 247)<sup>25</sup>; с другой стороны, оно есть применение мира текста к миру читателя, т. е. к миру жизни как «праксической эффективности»

24. См.: TR2: 58–114; SA: 171–175.

25. Рикёр обращается здесь к тезисам Канта и Шлейермахера. См.: Schleiermacher, 2011, и мое предисловие: Tétaz, 2011, особ. с. 401–403.

(TR1: 120). Получаясь из воображения, мир текста есть прежде всего результат дезориентации и дистанцирования<sup>26</sup>. Эта контрастная способность может привести и к преобразению, к трансгрессии повседневного (см.: TR3: 258), которая, в свою очередь, возвещает «новые оценки», «прояснение», «критический разбор» и, наконец, «когнитивное преобразование» (TR3: 258s.). Так тексту возвращается его истинностный горизонт, т. е. возможность «предложить мир» (TR1: 122) способом, несводимым к описанию<sup>27</sup>. В случае повествования это иконическое приращение придает, прибавляет действию «читаемости» (TR1: 123). Читатель может овладеть этим миром, предложенным фикцией и ставшим читаемым благодаря иконическому приращению, благодаря «самым собственным своим способностям», т. е. толкуя его как схематизацию «некоторой практической возможности» (Ricoeur, 1986e: 225), мира практики, в котором ему открываются новые возможности. Но поле возможного есть не что иное, как пространство свободы сознательного и самосознательного существа. Позволяя вообразить новые возможности, освоение текста через чтение расширяет пространство свободы читателя. Это освобождение, дающее способность действовать поновому. Конечно, можно говорить в случае с Гадамером о «слиянии горизонтов» (см.: TR1: 120; TR3: 261), но понимать его следует скорее как субверсивное и конфликтное взаимодействие, чем чистое эстетическое удовольствие.

В рамках теории чтения как преобразования мира действия повествовательной идентичности выпадает особое место. В ней Рикёр видит «хрупкое дитя истории и фикции», и в этом смысле она «определенным образом объединяет различные семантические эффекты повествования» (TR3: 355). Рикёр имеет в виду, что она есть скрещение двух больших типов повествовательных текстов, которые он различает в TR, историю и фикцию, а именно повествование, «дисциплинируемое документом», и повествование, не знающее никаких ограничений. Как понять это «объединение различных семантических эффектов повествования»? И что это за эффекты? TR различает два их типа: «фикционализацию истории» (TR3: 265ss.) и «историзацию фикции» (TR3: 275ss.).

Фикционализация истории касается всего, что в историографическом повествовании связано с интригой, с повествовательной конфигурацией. В самом деле, история не ограничивается воспроизведением содержания документов и архивов, она интегрирует их в интригу. Но сама интрига произведена воображением, поскольку она не является документально данной. Конечно, в историографическую интригу включаются различные и весьма сложные теоретические концепты и объяснительные модели<sup>28</sup>, но они ничего не меняют в том, что историографическая интрига остается в принципе сходной с художественным повествованием, которое, кстати, также может включать в себя объяснительные элементы, пусть и не такие сложные. Что действительно отличает историографическое от художественного повествования, так это роль «коннекторов между повествовательным временем и временем универ-

26. См об этом: Ricoeur, 1986d.

27. Пародирую знаменитую формулу Витгенштейна в «Трактате», Рикёр пишет: «Для меня мир — это совокупность отсылок к разнообразнейшим текстам, описательным или поэтическим, которые я читал, толковал и любил» (TR1: 121).

28. См., например: TR1: 187–202; SA: 134s.; Ricoeur, 1986c, 1986b: 197–211.

сальным» (TR3: 268): календарем, сменой поколений, документом, архивом или следом. Эти коннекторы нужны, чтобы вписать воображаемое и рассказываемое время в объективный порядок. Так, календарь позволяет «приписать даты... к некоторым воображаемым *настоящим*» и тем самым превратить «воспоминания, накапливаемые в коллективной памяти», в «*датированные события*» (TR3: 268). След становится следом только благодаря интерпретации, которая читает его как знак некоторого исчезнувшего и подлежащего реконструкции мира. Коннекторы — от календаря до следа — предоставляют всё большее место воображению, этому инструменту для вписывания повествовательной темпоральности в единый масштаб космического времени. Это, повторяю, эффект фикционализации истории.

Историзация же фикции затрагивает в первую очередь время повествования. Из сказанного можно было бы заключить, что художественное время просто оторвано от времени исторического. Против такого тезиса Рикёр подчеркивает, что «рассказанные в художественном тексте события реальны для *повествовательного голоса* [voix], который можно считать идентичным с соответствующим автором» (TR3: 278)<sup>29</sup>. Они принадлежат как бы к прошлому, рассказанному «повествовательным голосом читателю» (TR3: 277). Чтение есть на самом деле своего рода «контракт между читателем и автором» (TR3: 276), по условиям которого читатель оказывает доверие автору и верит, например, что рассказанные события лежат в прошлом повествовательного голоса. Художественное повествование может, таким образом, претендовать на некоторую «псевдоисторичность» (см.: TR3: 277)<sup>30</sup>. Но статус псевдопрошлого, приданный придуманным событиям, — не единственный семантический эффект историзации фикции. К нему надо добавить и эффект правдоподобия. Чтобы убедить читателя (т. е. укрепить его в доверии автору), вымысел должен быть «вероятным». «*Псевдопрошлое* вымысла становится детектором возможностей, скрытых в реальном прошлом» (TR3: 278). Эту ретроспективную функцию вымысла Рикёр называет «освободительной» (TR3: 278).

Повествовательная идентичность есть «скрещение» (TR3: 279, 354) фикционализации истории и историзации фикции. Оно может быть охарактеризовано согласно двум осям: темпоральности и миметического воображения. Начнем с первой. Нарративизация дает времени двоякую форму: календаря и повествовательного голоса. Повествовательная идентичность скрещивает две эти формы темпоральности. В случае повествовательной идентичности рассказчик совпадает с персонажем, историю которого рассказывает. И этот персонаж не фиктивен, это реальная личность, которая рассказывает свою жизнь. Поэтому прошлое повествовательного голоса уравнивается с прошлым истории, вписываясь в «некоторое промежуточное время между временем психическим и временем космическим» (TR3: 156). Обратное тоже верно: промежуточное время становится временем повествовательного голоса, равносильным времени истории и времени вымысла. Рассказ о жизни, в котором выражается самоидентичность, увязывается со временем всех, а индивидуальная память вписывается в последовательность поколений, где воспоминания отождествляют себя с

29. Понятие повествовательного голоса восходит к М. Бахтину (TR2: 183).

30. Смешение исторических и псевдо-исторических событий свойственно художественной литературе (см. «Войну и мир», «Волшебную гору» и т. п.).

датированными событиями. Скрещение вымысла и истории в работе воображения предполагает сходные процессы. Рассказ о какой-то жизни может идти «многими путями», следовать «многим интригам» (SA: 190). Всякий раз воображение пускается в исследование возможностей, выявляя не только то, что могло случиться, действующая личность иначе<sup>31</sup>, но и смыслы, которые можно придать жизненным перипетиям. Критерием нарративизации жизни выступает правдоподобие, т. е. способность выразить правдоподобный, а следовательно, приемлемый для рассказчика и его собеседников смысл.

Такое скрещение истории и вымысла в рассказе о жизни, заявляющем самоидентичность, ведет к рефигурации жизни. Оно вытекает из чтения как *poësis*, как акт фигурации. Повествовательная идентичность — это всегда временный и хрупкий результат «применения вымысла к жизни» (SA: 191), которое стимулирует рефигурацию жизни, носящую уже упомянутые черты: жизнь становится более читаемой и интеллигентной благодаря иконическому приращению; соответствующая прибыль в ясности делает возможным «исследование самого себя» (SA: 188) и, далее, оценку себя, дающую «этическую характеристику (SA: 187) жизни, собранной ретроспективным повествовательным жестом. Сам повествовательной идентичности, конституирующийся в ходе своего самоповествования, действительно есть «плод самоисследованной жизни», «самость... самого, образованного произведениями культуры, обращенная на саму себя» (TR3: 356). Самопознание есть всегда поэтому «истолкование себя», прошедшее, среди прочего, через «освоение фиктивного персонажа читателем» (Ricoeur, 1988a: 304). Это та специфическая форма, которую принимает в случае повествовательной идентичности культурное опосредование доступа к себе.

3) Какого рода поэтический ответ дает эта стратегия на апории личной идентичности, проанализированные Рикёром в SA? Апоретика возникла, как мы уже видели, из одностороннего толкования личной идентичности в терминах инвариантности, «то-же-самости», которую надо было дополнить «самостью», чтобы выявить «внутреннюю диалектику» (SA: 175) между двумя этими полюсами, способствующими сохранению себя, хайдеггеровскому само-стоянию (*Selbst-Ständigkeit*): «Повествовательная нарративность удерживается посередине; нарративизируя характер, рассказ придает ему подвижность, упраздненную стабильными признаками, наделяет его чертами персонажа, которого можно любить или уважать. Повествовательная идентичность связывает два конца цепи: постоянство и сохранение себя» (SA: 195).

Повествовательная идентичность отнюдь не довольствуется утверждением диалектики то-же-самости и самости, но и исследует ее границы. Такова роль «имагинативных вариаций», выявляющих «экзистенциальный инвариант» (SA: 179), некий последний оплот то-же-самости, сопротивляющийся любым попыткам растворения персонажа и утраты им своих свойств: «телесное условие, переживаемое как экзистенциальное опосредование между мной и миром» (SA: 178). Этот инвариант трансцендирует, по выражению Парфита, «манипуляции воображения» и делает нерешаемым вопрос о личной идентичности. Этот инвариант телесного состояния служит усло-

31. См.: Austin, 1994.

вием обоснованного приписания агенту его актов. Укорененность в теле имеет «абсолютно нередуцируемое значение»: «тело есть одновременно факт мира и орган субъекта, не принадлежащего объектам, о которых он говорит» (SA: 71). На периферии тех трудностей, которые ставит понятие идентичности как самости появляется, таким образом, измерение, выходящее за рамки возможностей опосредования модели повествовательной идентичности и отсылающее к онтологической укорененности вопроса об идентичности, измерение, которое можно тематизировать только через «встречное вопрошание», отталкивающееся от предельных горизонтов, выявленных герменевтикой *себя*.

### III

Сочетание этих двух черт позволяет понять роль «поэтического ответа, который дает повествовательная идентичность на апории приписания» действия агенту (SA: 175). Две эти апории заключаются в следующих трудностях, как: 1) приписать действие агенту как его акт (SA: 121) и 2) осмыслить действие как действие какого-то агента (SA: 124).

1) Уже с самого начала четвертого этюда Рикёр задался вопросом, «не является ли приписание действия агенту таким специфическим родом атрибуции, что оно ставит под вопрос апофантическую логику атрибуции» (SA: 110)<sup>32</sup>. Семантика действия Дэвидсона в самом деле показала, что действие может быть полностью описано и без его приписания какому-либо агенту. Это означает, что связь между ними не может быть понята как описательный признак действия. Как же понять эту связь? Можно ли видеть в ней связь предписательного типа, обусловленную моральной и правовой вменяемостью? Это было бы равносильно тому, чтобы считать, что «моральная и правовая вменяемость есть сильная форма логической структуры, слабой формой которой является приписание [действия агенту]» (SA: 122). Но этот тезис не представляется убедительным по двум причинам. Во-первых, вменение не касается простых действий (закурить, вдеть нитку в иголку, сесть в поезд), которыми оперирует семантика фраз действия (Davidson, 1993); вменяемые действия выходят за рамки фраз и требуют текста, которым занимается уже поэтика. Во-вторых, вменение кому-то действия предполагает, что действие, вызывающее осуждение или похвалу, ему принадлежит, что это действие — *его/ее* действие, т. е. «приписание представляется операцией, предваряющей любое осуждающее высказывание» (SA: 122). Обе причины отсылают к одной и той же проблеме: «изучению практических модальностей, которые в силу сложности своей организации выходят за рамки теории действия, по крайней мере, в том узком смысле, которым мы оперировали до сих пор» (SA: 135). Лишь «исследование праксиса и практик» (SA: 136) позволит увязать приписание и вменение и выявить «точки внедрения» (SA: 136) морального или правового суждения.

32. Рикёр заимствует термин «апофантическая логика» (в значении предписывающего суждения) у Гуссерля, а тот — у Аристотеля.



Вести это исследование позволяет только повествование. Мы уже видели: иконическое приращение, достигаемое рассказом, делает действие более понятным. Но действие может быть «сверх-означено» рассказом только потому, что оно «пред-означено» в «праксической эффективности» (TR1: 123, 120). Такое приращение возможно проследить, только если преодолен уровень фраз действия, примеры которых семантически слишком бедны. Вклад повествования заключается в «расширении практического поля за пределы участков действия, которые описываются в логической грамматике фразами действия, и даже за пределы цепочек действий» (SA: 180)<sup>33</sup>. Это расширение осуществляется на трех уровнях.

Оно касается прежде всего практик, будь то спорт, профессия или искусство. Практика отличается от цепочек действий тем, что составляет «конфигурационное единство». Практику «профессия столяра» можно описать, и не упоминая возможное использование производимой им мебели. Эта практика «разрезает» «конфигурационное единство» на «длинные цепочки действий» (SA: 182), включающие различные «подчиненные действия» (там же). Профессия столяра состоит из разных действий: пилить, строгать, шлифовать, клеить, лакировать и пр. Ни одно из этих действий не составляет практику, но все они подчинены единой столярной практике. Единство некоторой практики устанавливает, следовательно, «определенное смысловое отношение», выражающееся в «конститутивном правиле», придающем «смысл различным обособленным жестам», и включает их в сеть социального взаимодействия (SA: 183). Обратимся к тому же примеру: хороший умелец-любитель выполняет те же операции, что и столяр, и всё же то, что он делает, не *считается* практикой столяра. Их отличает конститутивное правило, определяющее, что столярством считается только профессиональная работа с деревом. Это правило, таким образом, вписывает столярство в общественное разделение труда. То же касается даже индивидуальных видов деятельности, например, пасьянса или отшельничества. Я играю в пасьянс, только если применяю социальное правило, определяющее, *что* это такое и *как* следует класть карты; я могу практиковать отшельничество, только если эта форма религиозной жизни признана в социуме и если я соблюдаю правила, ее определяющие.

Это же относится и к тому, что Рикёр называет «жизненными планами» (SA: 186), т. е. тем, что направляет существование человека в зависимости от его идеалов и целей, которые он постепенно формулирует (и меняет) под воздействием различных факторов, взвешивая все практические преимущества и недостатки тех или иных перспектив. К этой теме Рикёр обращался уже в книге «Вольное и невольное»<sup>34</sup>. В SA Рикёр отказывается от прямого описания в феноменологическом стиле, от эйдетики, прибегая к обходному анализу через повествовательную конфигурацию. Рикёр подчеркивает здесь близость между «практическим полем... подчиненным двойному принципу детерминации» (т. е. институционализированным социальным практикам и индивидуальному проекту) и «герменевтическим пониманием текста через взаимодействие целого и частей» (SA: 187)<sup>35</sup>.

33. См.: Anscombe, 2002, особ. §§ 23ss. См. комментарии Рикёра: SA: 86–94.

34. См.: Ricœur, 1988c: 41ss.

35. См. о понятии текста: Ricœur, 1988f, 1988g.

Понятие жизненного плана служит переходом от практик к тому, что Рикёр вслед за А. Макинтайром называет «повествовательное единство жизни»<sup>36</sup>. Повествование разворачивает третий уровень расширения практического поля. На этом уровне возникают и трудности, связанные с рикёровской концепцией повествовательной идентичности: способ, которым она опирается на теорию повествования, разработанную в TR. Если повествовательное единство жизни действительно представляет собой «последний уровень в масштабе праксиса» (SA: 187), то возникает вопрос, каким образом на этом уровне рефигурации возможна жизнь посредством вымысла. Рикёр упоминает три затруднения (и три точки расхождения) с концепцией Макинтайра, слишком непосредственно отождествляющей идентичность жизни с идентичностью рассказа.

Первая трудность касается двусмысленности понятия «автор», когда оно применяется к операции рефигурации собственной жизни, хотя здесь и уточняется, что автор всегда лишь «соавтор» (SA: 189). Рикёр тут лаконичен и с трудом поддается интерпретации (TR3: 233–235, 248s., 261). Остановимся только на двух моментах. Рикёр подчеркивает, что «я не являюсь автором моей жизни как существования, но становлюсь соавтором ее смысла» (SA: 191). «Смысл» здесь сближается с авторским «стилем» в TR. Стиль в данном контексте — это «уравнение сингулярности решения с сингулярностью кризиса, как это уравнение понимает мыслитель или художник» (TR3: 235). Быть «соавтором смысла» означает найти в репертуаре произведений, наличных в культуре, те повествовательные ресурсы, которые необходимы для формулировки адекватного разрешения кризиса, угрожающего через разнородные элементы поиска ответа на вопрос «кто я?». Способ использования этих ресурсов и задает индивидуальный стиль существования и образует суть *себя*. Определенность *себя* — это тот особый стиль литературного решения кризиса идентичности, когда индивид должен собрать воедино разнородные элементы своей жизни. Речь может идти лишь о соавторстве, поскольку индивид не является автором повествовательных ресурсов, к которым прибегает. Но это подлинное *соавторство*, потому что использование ресурсов является подлинным *poësis*, подлинной «борьбой... между текстом и читателем» (SA: 191).

А что с существованием, автором которого *сам* не является, будучи при этом и рассказчиком и персонажем? Рикёр обращается здесь к стоикам, толковавшим «самую жизнь как роль в пьесе, которую не мы написали и автор которой скрывается где-то за ролями» (SA: 191). Сходные образы находим и у Макинтайра: «Я наследую из прошлого моей семьи, моего города, рода, нации разнобразные долги, наследство, надежды и обязанности. Это данность моей жизни, моя моральная точка отсчета» (MacIntyre, 1981: 214). Такое толкование, однако, лишено рикёровской онтологической перспективы и слишком легко впадает в критику современного индивидуализма. Если следовать неявной отсылке к «Никомаховой этике», то «роль в ненаписанной нами пьесе» отсылает к «устойчивым признакам», через которые Рикёр в SA интерпретирует характер; эти признаки включают признание традиционных ценностей группы, но к нему не сводятся, так как обогащаются за счет то-же-самности. Она, по

36. См.: MacIntyre, 1981: ch. 15.

Рикёру, не может быть включена в измерение, автором которого является *сам*; *сам* лишь толкует ее как данность, полученную извне. Что не мешает ему рассказывать истории своих привычек и идентификаций. Этот рассказ будет отчетом о влияниях и контекстах, которые сделали из него то, что (но не *того, кто!*) он есть. Здесь обретает всю свою важность вариативность точек зрения, к которой может прибегнуть автор (TR2: 165–188).

Вторая трудность связана с симметричными понятиями начала и конца. Ими обладает каждый рассказ, даже если отсылает к периодам до начала и после конца<sup>37</sup>. Однако «ничто в жизни не может претендовать на роль повествовательного начала» (SA: 190), а смерть может считаться повествовательным концом только для тех, кто рассказывает жизнь после чьей-то смерти, но никогда в случае *самого*, который себя рассказывает. «От литературных историй истории жизненные отличаются своей открытостью в обе стороны» (SA: 191), что уже затрудняет апелляции к «повествовательному единству жизни», как это делает Макинтайр. Это возражение неотразимо, пока принимается реалистическая концепция повествовательной идентичности и пока считается, что «единство индивидуальной жизни» есть «единство повествования, воплощенного в уникальной жизни» (MacIntyre, 1981: 212). Трудность можно преодолеть, только приняв рефлексивную точку зрения, включающую рассказ как ретроспективный синтез, устанавливающий ретроспективный синтез через единство смысла в интриге. Этот ретроспективный синтез вводится в жизнь чтением, снабжающим субъекта повествовательными ресурсами, необходимыми, чтобы рассказать себя и отнести к себе как к *себе*. Стратегии разворачивания интриги и выполняют функции стабилизации или фиксации. Интрига выбирает и начало, и конец в зависимости от значений, которые она придает рассказываемой жизни. Но и начало, и конец — инстанции временные. Литература учит нас, что любое начало отсылает к прошлому, ускользнувшему от памяти<sup>38</sup>, а любой конец отсылает к последнему концу — к смерти. Если расшифровывать скупые замечания Рикёра, то именно рефлексивный синтез через интригу позволяет повествованию придать жизни единство. Невозможно непосредственно воспринять это единство, оно не дано прямо, оно существует только как горизонт, на котором выделяются периоды жизни, планы и практики — всё, о чем эксплицитно говорит текст.

Третья трудность обусловлена принципиально ретроспективным характером рассказа. Он, кажется, не в состоянии включить в себя «предвосхищения, проекты» и, по-видимому, ограничен «уже прошедшей частью жизни» (SA: 191). Поэтому та тяга к будущему, которую Хайдеггер назвал «заботой», кажется, исключена из неизбежно ретроспективного синтеза повествования. Это возражение базируется на слишком непосредственном отождествлении пережитой жизни с рассказом. Ибо «литературный рассказ ретроспективен только в одном смысле: только в глазах рассказчика рассказанные факты кажутся произошедшими когда-то» (SA: 192); среди этих прошлых рассказанных фактов «занимают свое место и проекты, и ожидания, и предвосхищения,

37. См. также: TR2: 40–58; TR2: 254–286.

38. Для Рикёра Пруст служит парадигмой; см.: SA: 189, 193; TR2: 246–286. Но он мог бы привлечь и первую фразу пролога к «Иосифу и его братьям»: «Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?»

которые ориентируют персонажей рассказа на их будущее смертных» (SA: 192). Но освоение повествования читателем проходит через двойную идентификацию читателя с рассказчиком и с персонажем. Слияние горизонтов принимает форму идентификации времени вымысла со временем жизни. «Якобы-прошлое повествовательного голоса» становится собственным временем читателя, применяющего рассказ к своей жизни. Тем самым «будущее совершённое», в котором выражаются проекты персонажа, становится временем выражения заботы читателя, ставшего рассказчиком своей жизни. Литература помогает ему осознать свое прошлое как тот способ, которым он пытался осуществить свой проект и который он сегодня понимает как смысловой горизонт, ориентирующий его будущие действия. Процесс чтения научает его «артикулировать повествование ретроспективно и проспективно» (SA: 193), обнаружить, что забота, т. е. стремление бытия-человеком к своему как можно более собственному будущему, выражается в поиске повествовательного единства жизни. Ибо «в каком-то смысле [повествование] рассказывает лишь заботу» (там же). Единство жизни может быть только предвосхищено (см.: SA: 206).

Как это длинное отступление о повествовательной рефигурации продвинуло наш анализ «статуса приписания по отношению к простому описанию» (SA: 121)? Каждый из выявленных нами планов — практика, жизненный план, повествовательное единство жизни — дает элементы, позволяющие лучше понять «отношения между действием и его агентом» (SA: 180). Остановимся на них подробнее.

Практика позволяет ввести два существенных элемента: идею конститутивного и неизбежно социального правила и измерение взаимодействия. Первый элемент касается целесообразия действия. Например, если мы говорим, что кто-то плохо играет в шахматы, то мы тем самым устанавливаем конститутивное правило игры в шахматы как некоего эталона (SA: 207). Описание одного хода было бы здесь недостаточным. Игрок, расценивающий свою игру как плохую, расценивает и себя как плохого игрока. Приписание действия агенту проходит здесь, однако, без какого-то морального или юридического вменения<sup>39</sup>.

В отличие от практик с внутренней целью (игра в шахматы — это самоцель), жизненные планы ставят перед собой цели внешние. Вопрос в том, насколько индивид способен «исправлять свои изначальные выборы» (SA: 209) под действием обстоятельств, вызовов реальности, ожиданий других людей и собственных изменившихся предпочтений. Необходимо привести в соответствие внешнюю цель и те практики, которые должны обеспечить ее достижение. Их отношение круговое: цель определяет практики, но и они могут видоизменять цель. Вопрос о жизненном плане ставит отношения между действием и его агентом в новую перспективу: в перспективу *phronèsis*, понятую как взаимоприменение идеалов и практики (см.: SA: 208).

Вопрос о жизненном плане открывает, таким образом, третий уровень — повествовательное единство жизни. На этом уровне происходит «исследование самого себя», которое включает в себя толкование *себя*. Это исследование протекает только как осознание разрыва между способом самопонимания и жизнью как она прожита этим *собой*, со всеми ее случайностями и необходимостями, о которые разбиваются

39. См. размышления Тугендхата о «благе» «в смысле наречия» в: Tugendhat, 2010: 59ss.

намерения и выборы. Соответствие пережитого той «туманности идеалов и чаяний, по отношению к которой жизнь может считаться более или менее удавшейся», и есть то, что определяет «хорошую жизнь» (SA: 210). Хорошая жизнь — это жизнь в соответствии с «тем, что нам кажется наилучшим для всей нашей жизни» (SA: 210). Любое действие будет оцениваться в зависимости от этого внутри повествовательного единства жизни.

Первый поэтический ответ нарративной теории на апории приписания состоит в трех способах понять «отношения между действием и агентом»: оценка в зависимости от внутреннего целеполагания данной практики; обсуждение в целях взаимоопределения идеалов и практики; наконец, интерпретация себя собой в ходе исследования своей жизни. Эти три регистра перечисляют — в порядке нарастания радикальности — способы присвоения агентом своих действий. Все они выступают одновременно как модальности истолкования и понимания агентом своего действия и способы, которыми агент интерпретирует сам себя как автора действия, которое он толкует. Толкование действия и интерпретация *себя* оказываются солидарными. Только посредством этого единства действие может быть отнесено к агенту. Именно в этом смысле повествовательная идентичность есть поэтический ответ на апорию приписания: она показывает, что вопрос об отношении действия к своему агенту нельзя решить иначе, как в рамках рассмотрения рефлексивного отношения агента к своему действию.

2) Теперь мы можем перейти ко второй апории, оставшейся без решения в конце четвертого этюда, апории, на которую натолкнулся анализ идеи «способности к действию» (SA: 124). Приписать действие какому-то агенту предполагает признание за ним способности его произвести. Но эта идея негласно «протаскивает» понятие движущей причины (SA: 124). Проблематичный характер этого понятия требует критического разбора по модели диалектического конфликта (в «Третьем конфликте антиномии чистого разума» в кантовской «Критике чистого разума») (SA: 125–132). В этом конфликте сталкиваются две на первый взгляд непримиримые концепции причинности: спонтанность, понятая как способность инициировать причинную серию, и природная причинность, предполагающая, что каждая причина есть следствие какой-то предшествующей причины. Но обе эти концепции встречаются в идее причинности агента, действующего посредством «базисных действий» (А. Данто) в антиномии между идентификацией агента какого-либо действия и поиском мотивов действия (и причин этих мотивов). «Если поиск мотивов какого-либо действия бесконечен, то поиск его автора — конечен... Агент — это странная причина, так как его упоминание кладет конец поиску причины, который продолжается по другой линии, линии мотивации. Таким образом, антитетика, о которой говорит Кант, проникает в теорию действия в точке сочленения способности действовать и причин действовать» (SA: 127).

Но это лишь один аспект апории. Второй с ним связан и касается не причин, а следствий. Действие, в самом деле, представляет собой начало в принципе бесконечной каузальной серии. Поэтому возникает вопрос о «радиусе действия начала» (SA: 129). Размышление о приписании не может обойти эту проблему. Если способность



действовать есть способность инициировать каузальную серию, то «до каких пор простирается воздействие этого начала?» (SA: 129). Как очертить сферу, внутри которой можно вменить агенту ответственность за действие, приписав его ему? Тут нельзя «остаться на антиномической стадии» (SA: 131). Необходимо объединить эти две антиномичные концепции причинности, если мы хотим «помыслить инициативу» (SA: 133). Разбирая конфликт «динамических Идей», Кант доказал, что тезис и анти-тезис могут быть совмещены, если разведены чувственные и интеллигибельные условия<sup>40</sup>. Но в теориях действия интеллигибельные условия не играют никакой роли. Рикёр предлагает поэтому «другой выход из антиномии» (SA: 132). Он предполагает «представить контакт агента с вещами как соединение многих видов причинности», каковым соединением является способность к действию (SA: 133). Пред-понятие, заключающееся в «живом опыте способности к действию», достигает большей ясности благодаря переходу от разделения к соединению членов антиномии (SA: 124). Если и в этом случае антиномия остается апоретичной, то это потому, что аналитические теории действия не дают никаких концептуальных средств для формулировки «более богатых определений *самости*» (SA: 135). Для этого нужно «преодолеть навязанные барьеры» с помощью семантики действия и снова обратиться к поэтическим ресурсам теории повествования.

В чем состоит поэтический ответ, данный повествованием на апорию способности к действию? Вернемся к двум аспектам апории.

Первый касался антиномии между атрибуцией действия агенту, завершающей конечное расследование, и поиском — в принципе, бесконечным — мотивов и причин действия. Иными словами, антиномия заключается между «ответами на вопрос *кто?*» и «ответами на вопрос *почему?*» (SA: 127). Мы видели, что структура рассказа есть результат между «двумя процессами разворачивания интриги — процессом действия и процессом персонажа» (SA: 174). Рассказывать историю — это, на самом деле, накапливать ответы на различные вопросы: кто? что? почему? — составляющие «концептуальную сеть действия» (SA: 174). Но повествование не довольствуется накоплением этих ответов. Оно показывает, что действие можно приписать агенту, только уяснив, в чём оно состоит, и дав понять причины того, почему агент сделал то, что он сделал. Таким образом, рассказ выявляет три полюса концептуальной сети, единство которых необходимо для решения проблемы приписания. Первый аспект апории способности к действию оказывается следствием невозможности для аналитического подхода разобраться с проблематикой семантики действия (SA: 174).

Второй аспект относится к «ограничению той событийной сферы» (SA: 130), ответственность за которую мы возлагаем на агента. Здесь также семантика действия не может предложить никакого решения, даже в интервенционистской концепции причинности фон Вригта<sup>41</sup>. Иначе обстоит дело с повествованием. Ретроспективный его характер подразумевает, что оно всегда строится, исходя из *телоса*. Поиск автора действия производится, исходя из — пусть и предварительного — завершения интриги. Иными словами, повествовательное единство конфигурации выделяет, вычленяет из континуума причин и следствий те смысловые единицы, которые «очерчивают

40. См.: Кант, «Критика чистого разума», А 530s., В 558s.

41. См.: SA: 134s.; TR1: 187–202.

царство начала» (SA: 130), т. е. проявленной персонажем инициативы. Можно даже видеть в художественной литературе воплощение имажинативных вариаций на тему «действенности начала», вплоть до скептицизма Толстого, показывавшего иллюзии телеологизма (Berlin, 1953, а также: Berlin, 1978)<sup>42</sup>. Эти вариации могут «фиксировать контуры промежуточных целей», помочь нам прояснить «неточный опыт того, что же означает „завершить течение действий“» (SA: 192). Художественная литература не упраздняет апории, но показывает, насколько они конститутивны для человеческого действия. Обходной маневр через литературу не исправляет ошибки семантического анализа и не преобразует живой опыт нашей способности к действию, но «спасает опыт», позволяя лучше осознавать и промысливать его сложность.

В итоге эти две черты дают поэтическое решение апории способности к действию. «Повествование дает своеобразное решение антиномии: во-первых, придавая персонажу инициативу, т. е. способность начать серию событий, не объявляя это начало абсолютным; во-вторых, давая рассказчику как таковому способность задать начало, середину и конец действия. Совмещая в одной точке инициативу персонажа и начало действия, рассказ удовлетворяет тезис, не нарушая антитезис» (SA: 175). Операцию разворачивания интриги *сам* через посредство чтения применяет к собственной жизни, идентифицируя себя как с рассказчиком, так и с персонажем. Примененная к проблеме способности к действию, эта идентификация предполагает, что в ставшей возможной самоинтерпретации читатель, оказавшись рассказчиком собственной жизни, понимает себя как взявший инициативу некоторого действия, последствия которого он может задним числом оценить, а затем вменить себе соответствующую ответственность. Читатель-рассказчик конструирует таким образом свою идентичность как идентичность повествовательную, благодаря которой он оказывается способен понять себя как *себя*.

## Литература

- Anscombe G.E.M.* (2002). *L'intention* / trad. M. Maurice, C. Michon. Paris: Gallimard.
- Austin J.L.* (1994). «Pouvoir» et «si» // *Austin J.L. Ecrits philosophiques*. Paris: Seuil. P. 171–205.
- Berlin I.* (1953). *The hedgehog and the fox: an essay on Tolstoy's view of history*. London: Orion.
- Berlin I.* (1978). *Russian thinker*. London: Hogarth Press.
- Dagonet F.* (1973). *Ecriture et iconographie*. Paris: Vrin.
- Davidson D.* (1993). *Actions, raisons et causes* // *Davidson D. Actions et événements* / trad. P. Engel. Paris: PUF. P. 15–36.
- Descombes V.* (2004). *Le complément de sujet: enquête sur le fait d'agir de soi-même*, Paris: Gallimard.
- Descombes V.* (2007). *Une philosophie de la première personne* // *Cahiers de l'Herne: Ricoeur*. T. 2 / dir. M. Revault d'Allones, F. Azouvi. Paris: Seuil. P. 72–92.
- Heidegger M.* (1927). *Sein und Zeit*. Halle a.d.s.: Max Niemeyer.
- Locke J.* (1975). *An essay concerning human understanding* / ed. P. H. Nidditch. Oxford: Clarendon Press.

42. Cp.: Loriga, 2010.

- Locke J. (1998). *Identité et différence: l'invention de la conscience* / trad. E. Balibar. Paris: Seuil.
- Loriga S. (2010). *Le petit x: de la biographie à l'histoire*. Paris: Seuil.
- MacIntyre A. (1981). *After virtue: a study in moral theory*. London: Duckworth.
- Parfit D. (1986). *Reasons and persons*. Oxford: Oxford University Press.
- Personal identity. (1999) / ed. J. Perry. Berkeley: University of California Press.
- Personale Identität. (1999) / ed. M. Quante. Paderborn etc.: Schöningh.
- Quante M. (2001). *Menschliche Persistenz // Person: Philosophiegeschichte — Theoretische Philosophie — Praktische Philosophie* / hrsg. D. Sturma. Paderborn: Mentis. P. 223–258.
- Ricœur P. (1975). *La métaphore vive*. Paris: Seuil.
- Ricœur P. (1983). *Temps et récit. T. 1: L'intrigue et le récit historique*. Paris: Seuil.
- Ricœur P. (1984). *Temps et récit. T. 2: La configuration dans le récit de fiction*. Paris: Seuil.
- Ricœur P. (1985). *Temps et récit. T. 3: Le temps raconté*. Paris: Seuil.
- Ricœur P. (1986a). *De l'interprétation // Ricœur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil. P. 11–38.
- Ricœur P. (1986b). *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil.
- Ricœur P. (1986c). *Expliquer et comprendre // Ricœur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil. P. 161–182.
- Ricœur P. (1986d). *L'effet herméneutique de la distanciation // Ricœur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil. P. 101–118.
- Ricœur P. (1986e). *L'imagination dans le discours et dans l'action // Ricœur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil. P. 213–236.
- Ricœur P. (1986f). *Le modèle du texte: l'action sensée considérée comme un texte // Ricœur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil. P. 183–211.
- Ricœur P. (1986g). *Qu'est-ce qu'un texte? // Ricœur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil. P. 137–159.
- Ricœur P. (1987). *Individu et identité personnelle // Veyne P. et al. Sur l'individu*. Paris: Seuil. P. 54–73.
- Ricœur P. (1988a). *L'identité narrative // Esprit. 1988. № 7-8*. P. 295–304.
- Ricœur P. (1988b). *La symbolique du mal (1960) // Ricœur P. Philosophie de la volonté. T. 2: Finitude et culpabilité*. Paris: Aubier. P. 197–488.
- Ricœur P. (1988c[1950]). *Philosophie de la volonté. T. 1: Le volontaire et l'involontaire*. Paris: Aubier.
- Ricœur P. (1988d[1960]). *Philosophie de la volonté. T. 2: Finitude et culpabilité*. Paris: Aubier.
- Ricœur P. (1990). *Soi-même comme un autre*. Paris: Seuil.
- Ricœur P. (2004[1986]). *L'originnaire et la question-en-retour dans la Krisis de Husserl // Ricœur P. A l'école de la phénoménologie*. Paris: Vrin. P. 361–378.
- Rorty R. (1989). *Contingency, irony and solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schleiermacher F. (2011). *Conférences sur l'esthétique // Schleiermacher F. Conférences sur l'éthique, la politique et l'esthétique, 1814–1833* / trad. J.-M. Tétaz. Genève: Labor et Fides. P. 409–448.
- Shoemaker S. (1963). *Self-knowledge and self-identity*. Ithaca: Cornell University Press.
- Taylor Ch. (1989). *Sources of the self: the making of the modern identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tétaz J.-M. (2011). *Présentation // Schleiermacher F. Conférences sur l'éthique, la politique et l'esthétique, 1814–1833* / trad. J.-M. Tétaz. Genève: Labor et Fides. P. 389–406.
- The identities of persons. (1976) / ed. A. O. Rorty. Berkeley: University of California Press.

- Thiel U.* (2001). Person und persönliche Identität in der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts // Person: Philosophiegeschichte — Theoretische Philosophie — Praktische Philosophie / hrsg. D. Sturma. Paderborn: Mentis. P. 79–102.
- Thomä D.* (2007[1998]). Erzähle dich selbst: Lebensgeschichte als philosophisches Problem. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Tugendhat E.* (2010). L'homme égocentré et la mystique: une étude anthropologique / trad. J.-M. Tétaz. Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
- Williams B.* (1973). Problems of the self. London: Cambridge University Press.
- Williams B.* (1978). Probleme des Selbst. Philosophische Aufsätze 1956–1972. Stuttgart: Reclam.